

Я

видел худые и незащитные ноги, которые торчали из-за занавески и дергались в каком-то болезненном припадке. Я видел лицо девушки, склонившееся над пораженным болезнью телом, — ее подступившие слезы жалости, бессилия что-либо изменить, как-то облегчить беззвучные страдания того, кто был скрыт от меня. Его обхватили, прижали к кушетке, чтобы сбить приступ, переждать. И снова не было слышно ни звука, и от этого становилось как-то не по себе.

И были еще руки, поворачивавшие легкое от жизни тело, — мужские руки ее спутника, которые должны были вселить надежду на лучший исход. Я решил, что эти слабые ноги в татуировках — ноги старика, дошедшего до своего конца, но это оказались ноги подростка, который, очевидно, не просто попал в плохую историю, а жил в ней с самого рождения. А я-то думал, что молодость — это единственное оправдание жизни.

Я наклонился к отцу, провел рукой по его волосам, подержал за плечо; ожидание не добавляло ему сил. «Сейчас, сейчас, — прошептал я. — Сейчас подойдет наша очередь». Он сидел в кресле-каталке и тяжело дышал. Мне надо было говорить

громче, — он все равно меня не слышал. «Сейчас, сейчас», — продолжил я про себя.

В приемной появился врач, но это не к нам, а к подростку-старика. Его вытянули из-за занавески, чтобы произвести над ним какие-то манипуляции, однако лица его я так и не увидел. К врачу присоединился его коллега; консилиум должен был решить, что делать дальше. Они обследовали череп пострадавшего; оказывается, парня нашли на улице, он был без сознания. Я видел только его голые пятки и слышал прерывистое дыхание отца.

Еще раньше мне надо было выучить молитвы и заклинания, обучиться искусству заговаривать и приговаривать, быть ловким в нашептывании доходчивых слов. Надо быть готовым тысячекратно повторять некоторые слова, чтобы вдальбивать в них смысл. Я не преуспел в этом несколько, теперь расплачиваюсь.

Зимой случались такие дни, в которых я растворялся почти без остатка. Я был почти невесом, несмотря на одежду, и легко дышал свежим морозным воздухом. Мои ноги пружинили по утопанному снежку. Я сбивал иней с заледеневших веток деревьев и слышал хрустальный звон. Мне казалось, что я тоже становлюсь белым и начинаю искриться на солнце. А когда не было солнца и стоял сырой промозглый туман, или в пасмурном небе созрел небывалой кристальности и суровости мороз, я становился строже к самому себе и людям.

Все оказывалось слишком крепким; на промерзшей земле дыбились неразбиваемые глыбы льда, застывшее небо подпиралось строгими колоннами густого вертикального дыма. Долго выдерживать такое напряжение было невозможно.

Я выходил к троллейбусному кольцу, бывшей конечной остановке. Брошенное здание диспетчерской зияло провалами пустых окон. Это запустение было по погоде; всю неделю обещали морозы под тридцать. Нас предупреждали об осложнениях и испытаниях. Я проходил мимо дверного проема, целиком свободного от двери, и становился свидетелем последствий ледяного дыхания зимы. Из холодного и опустошенного здания два санитара выносили замерзшего божя. У него был полуоткрытый рот, скрюченные пальцы на руках; на одной, кажется, надета рваная варежка, которая никого и ничего уже не могла спасти. Это был окоченевший труп. Лица я не успел рассмотреть; может быть, я его видел, но ничего не понял, не сообразил, что оно имеет отношение к человеку.

Он искал убежище, а нашел смерть. Это было днем, мимо ехали автомобили и автобусы, все были заняты своими делами. Смерть по соседству никого не взволновала. Заросший щетиной бомж в нелепом осеннем пальто в клетку, в драных летних сандалиях на ногах, таких же драных носках, в куцей линиялой лыжной шапочке на голове был давно уже выброшен из жизни, а потому его конец стал закономерностью. Своей смертью он никому ничего не доказал, не послужил укором; он только доставил небольшие хлопоты бригаде «скорой помощи» и представителям власти, которые держались поодаль у своей служебной машины, — один из них снял шапку с кокардой и почесал голову. Эта проблема была совсем некстати.

«Сейчас, сейчас», — продолжил я свои заклинания, и меня услышали. Появился коллега того врача, который уже закончил обследование подростка с татуированными ногами и руками, и назвал знакомую мне фамилию. Я поднял руку в знак признания постигшего нас несчастья и

тронул отца за плечо: «Это за нами», а другой врач сказал, проводя по стариковским пяткам подростка шариковой ручкой: «Это наш пациент, мы его забираем». Мне показалось, что он даже обрадовался.

Еще одна история произошла как-то летом, давно, когда я с приятелем вышел с работы во время обеденного перерыва. Мы хотели, уже не помню, зайти в какой-то магазин и по пути наткнулись на непонятную сцену, в которой все уже случилось, даже зеваки разошлись и свидетели, а может быть, их и не было вовсе, потому что прошло много времени, и оно всех развело в разные стороны, и оставалась одна пожилая женщина, вернувшаяся с автобусной остановки, и перед ней прямо на тротуаре лежал мертвый человек. Мы это сразу поняли. И не было почему-то ни милиции, ни полиции, никого вообще больше. Днем, в оживленном центре лежал на спине парень в светлой рубашке и смотрел мертвыми глазами в небо. Лицо его ничего не выражало, если только какую-то усталость. Это из-за жары, почему-то подумал я, а женщина указала мне на железный прут, валявшийся неподалеку, которым его убили.

Напротив располагалось открытое летнее кафе, где торговали пивом. Возник какой-то спор: кому-то чего-то не хватило, кто-то не там стоял, где надо, или не стоял вовсе, и произошло случайное убийство. Откуда-то возник железный прут, рука взмахнула сгоряча — и человека не стало. Он упал навзничь, опрокинулся, нельзя же ведь лежать навзничь? Только упасть. Навзничь — это выражение уже звучит как фамилия. Человек по фамилии Навзнич упал. Нет-нет, какие глупости. Бог знает что лезет в голову. Жизнь вокруг продолжалась, а для него все закончилось. Но он ведь с чего-то начинал, был ребенком, как все, смешно бегал босиком по земле или нагретому асфальту, и где это все теперь? Пропало, исчезло навсегда, словно и не было никакой жизни, не было человека. Убийца тоже когда-то был ребенком, а теперь он исчез. Все произошло так стремительно, никто не запомнил его лица. Небо над лицом убитого было настолько бесстрастно, что я не мог не подумать: вот так просто это может случиться? Нелепость равна случайности или наоборот?

«Сейчас, сейчас», — начинаю я суетиться. Помогаю снять пиджак, открыть грудь; будут снимать кардиограмму. Уже заполняют карту, я отвечаю на вопросы. Рядом, другому пациенту, говорят самые важные слова: «Мы сделаем все возможное». Белый халат, разведенные в стороны руки, которые только что были сцеплены в надежный замок. Ко мне поворачиваются спиной. Лица я не успеваю рассмотреть, но не сомневаюсь, что это лицо настоящего профессионала. Это слова утешения и признания возможности провала. На самом деле он должен был сказать: «Я сделаю все возможное». И конечно же, развести руками, снимая с себя всякую ответственность. И даже поднять глаза к небу, не поднимая головы, туда, где решается судьба каждого из нас.

«Сейчас, сейчас», — я ищу новые действенные заклинания и никак их не нахожу. Путаюсь, придумываю, цепляюсь.

Откуда взялась эта женщина с голубем? Я переходил улицу и случайно наткнулся на нее, сделал шаг из-за низкорослого кустарника. Она шла по тротуару с голубем, как прогуливаются с собачкой. Голубь шел с ней рядом, только без поводка, и повторял все ее движения. Это, конечно же, случайно так совпало, но я на несколько секунд поверил увиденному, тому, что вот женщина вышла на прогулку со своим домашним питомцем-голубем, и он так уверенно, подобрав крылья, вышагивает на своих раскоряченных лапках. В самом деле, почему бы такому не быть? Почему

возможны только кошки да собаки? Разве можно выйти на прогулку с аквариумом под мышкой?

Мне еще многому предстоит удивляться. Никак не изживу в себе это свойство — весьма непригодное для практической жизни.

Надо быть простым, как ученическая тетрадь. Однако учиться некогда, надо усвоить понятия, но не правила.

Единственное, чему надо научиться, это разводить руками. Надо как-то освоить этот самый главный жест в жизни. Внешне нехитрый, но очень глубокий по внутреннему содержанию. «Я сделал все, что мог». Руки разводятся в стороны, словно открываются ворота. «Я сделал все, что мог». Я во всем признался, отворил все пути, теперь ваша очередь. «Я сделал все, что мог».

Город засыпается песком, с каждым годом его становится все больше. Он никуда не исчезает и оседает на улицах, во дворах, проникает через открытые окна в квартиры. Иногда бывает трудно дышать. Случается, что песок скрипит на зубах. Многим кажется, что так и должно быть.

Когда идешь вечером по улице мимо многоэтажных жилых домов, утыканных огоньками квартир, всегда думаешь: что за люди их населяют? У них есть мечты, заботы, свои представления о жизни. Часто они говорят на грубом и скудном языке, состоящем всего лишь из нескольких слов, и им бывает очень весело. Даже несмотря на пыль и песок. Я перестал им доверять.

«Сейчас, сейчас».

Тут надо цепляться руками и ногами, чтобы удержаться. Земли много, но места на ней мало. Мы поневоле жмемся друг к другу. Это земля безоглядного отчаяния, попусту сложенных голов и временных мер, введенных на постоянной основе.

«Мы сделаем все возможное».

Это была жизнь, которой я никогда не жил, которой я сторонился.

«Я сделал все, что мог».

Сколько всего непонятого вокруг. Мы поднимаем глаза вверх — единственное спасительное движение. Мы хотим в беспримерной пустоте, замаскированной под голубое небо с облаками, словно заставка успешной киностудии, выпускающей надежное успокоительное, — найти смысл. Не может же так быть, чтобы его не было? Мы находим себе точку, обладающую смыслом и разумом. Ей мы доверяем себя целиком и начинаем шептать сбивчивые заклинания.

Богоматерь всех спящих, богоматерь всех сущих, обманутых, пропавших, опоздавших, хромых, глухих, подслеповатых, болящих, скорбящих, гордых без меры, от дури дуреющих, от силы слабеющих, ленивых по глупости, умных по дурости...

Когда мне снилось, что я летаю, я был спокоен: значит, правильно живу. А потом это закончилось.

«Сейчас, сейчас». Я вытираю пот со лба отца, холодный пот. Сейчас нами займутся, уже занимаются. Вот подходят, говорят: «Сейчас вас повезут к лифту, поднимут на третий этаж». Коридоры длинные, гулкие.

Я ехал в маршрутке, дорога была долгая и утомительная, так что меня закономерно клонило в сон. И я видел в соседнем ряду еще одну маршрутку или автобус, и в них людей, некоторые из них тоже засыпали. Вот клюнула вниз одна голова, другая. Всех утомляло это медленное движение, постоянные вынужденные остановки. Из-за ремонтных работ на дороге образовалась внушительная пробка. Одна девушка, которая сидела

ко мне лицом, давно уже спала с мобильного телефоном в поднятой руке. Она собиралась в нем что-то увидеть, да так и заснула, смешно вытянув губы, блуждая закрытыми глазами. Что ей снилось: новый смартфон или фотографии со старого?

Слева нас с мерным рокотом объехал автобус. Я успел увидеть, что его водитель тоже спит. Он сидел ровно и с закрытыми глазами держал руль, уверенно выполняя свою работу. Я оглянулся: уже спали все вокруг, спали и ехали — водители, пассажиры... Это зрелище завораживало и успокаивало. Я зевнул и тоже закрыл глаза. Сон охранял нас от жизни.

Век дан как день, дня мало, мать движения, мать покоя, богоматерь всех сущих, богоматерь всех спящих...

Чтобы не заснуть, я начинал складывать цифры в номерных знаках машин, а потом еще раз складывал цифры из получившейся суммы, и если в итоге выходило 5, то я был доволен и считал, что нахожусь на правильном пути и мне обязательно повезет.

Снег искрился на солнце, когда из бывшей диспетчерской выносили бомжа. В мертвых глазах парня, открытых в пустоту неба, была только усталость; в железном пруте, валявшемся неподалеку, — отчаяние.

Ну вот и лифт, наконец-то. Створки раскрываются с лязгом. Колеса задевают и упираются в порог. Сопротивление бесполезно — санитарка проталкивает кресло вперед.

Мать движения, мать покоя.

«Сейчас, сейчас!»

СЧАСТЬЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

Где-то в небе раздавался клекот галок, похожий на плеск моря. Мне так и представилось, еще сквозь сон, как плещется море о скалы, или волны накатывают на берег; в этих звуках было что-то пронзительное и высокое, я открыл глаза и смотрел в потолок, море и небо для меня совмещались в одно целое и далекое, скорее всего недостижимое в этом году; проще и точнее мои чувства можно было назвать мечтой. Звуки проникали в эту комнату из другой комнаты, дверь туда была открыта, окно там тоже; я видел свежую утреннюю голубизну неба в закрытое окно, приглушенный шум проезжающих автомобилей по дороге ничуть не мешал плеску волн во дворе, с другой стороны дома, там, где поднимались тополя выше крыши, и небо имело более насыщенный оттенок, солнце еще не доставало своей чрезмерной жизнерадостностью, оно посылало примерочные лучи, эти звуки нельзя было поймать руками, с таким же успехом можно было черпать воду решетом, но я никогда не видел этих галок, подходил к открытому окну, насколько мог, вытягивал на себя взглядом границу неба в проеме и приближал только море — казалось, я находился у самого берега, и где-то рядом, повыше, в золотисто-голубом воздухе галки бесцеремонно плескались в его волнах.

Тишина меня никогда не обманывала. Когда-то давно я видел иностранный фильм, мне кажется, скандинавский, из которого помню только одну сцену: главный герой у себя дома, он чем-то занят в своей комнате, открывает ящик стола, сосредоточенно перебирает вещи, наверное, он что-то ищет, он занят каким-то делом, а позади него, в стороне, стоит катушечный магнитофон, бобины беззвучно крутятся, и все это выглядит важным именно потому, что нет звука. Я не помню, о чем этот фильм, но

эта сцена запомнилась, в ней, в этих без звука работающих катушках, в том, что зритель не слышит, какая музыка проигрывается на этом магнитофоне (а может быть, звучит чей-то голос?), выразилась какая-то суть современности, тянущейся уже много лет.

Базарный клекот галок не утихал, волнение моря то усиливалось, то спадало. Есть мне пока что не хотелось; с некоторых пор я мог позавтракать через полтора часа после пробуждения; что-то меня останавливало, я словно готовился к правильному восприятию; наверное, мне до конца не верилось, что утро уже наступило и пришла пора действовать. Но я не раскачивался, чтобы начать действовать, я принимал все, как есть. С вечера я захотел арбуза, первые уже появились в продаже, конечно, были сомнения, и я уже представлял себе, как буду его разрезать, а он, полосатый, спелый, будет хрумтеть, потрескивать, и как я буду уминать эти нарезанные скибки, обливаясь соком, захлебываясь в созревшей цельности, как в море. Но в ночь употреблять арбуз, чтобы потом, как по расписанию, ходить в туалет? Только в обед — чтобы точнее оценить происходящее.

Был такой случай, тоже давно, примерно в те же бобинно-катушечные времена, я этого человека не знал, мне знакомый о нем рассказывал, но история вот такая: у одного товарища было сильно развито эстетическое чувство прекрасного, он хотел не просто жить, потому что некоторые не знают, чего хотят, а просто живут, как придется, он хотел жить красиво, с непреходящим осознанием этой красоты и наглядным предметным результатом. У него была цель, окрашенная в белый цвет. Первым существенным приобретением на этом пути стал белый плащ, а если быть совсем уж точным, то плащ был белоснежным, он сильно выделялся на фоне отечественного белого цвета, он отливал нездешней избранностью. На приобретение этого замечательного плаща ушло какое-то время, его поиск стоил усилий, но на этом эстетическое чувство не останавливалось, оно не было утолено сполна, требовалось его подкрепление и усиление; теперь под наличествующий плащ надо было подобрать машину, тоже белого цвета, точнее, белоснежного, такого именно цвета автомобилей среди отечественных не наблюдалось, так чтобы оттенок идеально совпадал с плащом, чтобы счастливый обладатель плаща мог с достоинством выйти из аутентичного средства передвижения, а потому автомобиль мог быть только иностранный, так что поиск недостающей детали костюма занял еще больше времени. И ведь где-то он приобрел этот редкий экземпляр, минул, может быть, год или два, или даже больше (плащ, естественно, не занашивался, висел дома, ждал), и все совпало, устроилось для него самым счастливым образом, и он даже объявил друзьям, что приедет к ним в гости в воскресенье, чтобы они смогли убедиться в том, что он добился-таки своего, и оценили бы его упорство в достижении поставленной цели. Однако судьба распорядилась иначе, и за день до примечательной встречи хозяин белого на белом в самом точном приложении неожиданно умер; то ли переволновался, то ли мечта была осуществлена, и дальше уже ничего не могло последовать, но он действительно умер, и эта история стала Историей, которую каждый, в зависимости от убеждений правой или левой руки, может толковать, как ему вздумается.

У меня никакой истории нет, у меня есть только чувства и обрывки ощущений, которые я бережно собираю и потом на досуге сравниваю. Настоящим мне представляется только то, что уже когда-то было.

Про чувство вины мне напоминать не надо, оно и так всегда со мной в той или иной степени, оно просто живет в некоторых окружающих меня предметах. Вот круглые часы, что уже второй год, как мы переехали на новую квартиру, лежат сверху книжного стеллажа, хотя должны висеть на стене. Они тикают, показывают потолку время, в прежней квартире они находились на положенном месте, а тут мне словно что-то мешает взять гвоздик и молоток. Я приглядываюсь к новым условиям и не спешу ставить точку, до конца я еще не въехал, а может быть, мне просто не хочется видеть, как стрелка движется по кругу, последний раз я радовался часам в четвертом классе, отец подарил мне «Ракету», кожаный ремешок, обхвативший запястье, личное время, которое ни с кем не надо делить. Наверное, я глуповат, но хотелось бы думать, что на самом деле наивен; это примиряет меня с действительностью.

Когда я смотрю в окно на проносящиеся мимо моего дома машины, на это бесконечное, чуть стихающее к глубокой ночи движение, мне приходит в голову, что воздух насыщен миллионами невидимых частиц. Вся наша жизнь пронизана ими, тем, его мы не видим и не знаем, и, может быть, поэтому мы верим в чудо. Зимой для меня чудо наступало по выходным после трех часов дня, когда на заснеженные сосны на противоположной стороне улицы падал солнечный свет, и как-то там, на обнаженных стволах, в их тесной близости, зажигалось что-то такое, какая-то медь с бронзой и мягкая оранжевая кожа, произведенная чудесным образом из коры; все оборачивалось настоящим прощанием, последним взглядом, посланием; в этих стоящих друг за дружку, среди прочих, трех-четырёх соснах было сосредоточено все самое главное на земле в эти минуты, и я был тому свидетелем. Летом же ничего подобного не происходило, — объекты наблюдения словно выпадали из фокуса, из парадного строя, из сказки.

Я выхожу в другую комнату. Галки возятся в небе, как на пляже, — делят лежаки, зонтики, удачный вид на море. Оказывается, ночью был дождь. Во дворе спят лужи, это покой и смирение, наполненные до краев, границы определены, бо их нарушают, их будит колесо мусоровоза, гармония морщится, бежит рябью, волны откликаются на небо, — так они зевают. День куда-то растягивается; я возвращаюсь обратно, провожу рукой по книгам, которые, скорее всего, никогда не прочту, поправляю лампу на столе, все же беру одну из них, раскрываю наугад и читаю несколько предложений, это придает утраченному времени хоть какой-то смысл, я нахожу оправдание.

Зеркало в ванной показывает мне лицо человека загадочного, чувственного и небритого. Большинство замечает во мне только небритость, отсюда продолжение: нелюдимость, сухость. Мне нет нужды кого-то в этом разубеждать. Все люди по-своему хорошие и все хороши. Жена меня тоже не знает, она часто склоняется к мнению большинства; загадочность определяет как желание скрыть недостатки, а чувственность — как того же свойства детскую игривость. Все несерьезно, все близко к срыву договоренностей жить ладно в богатстве и в бедности. Когда любишь, не споришь. Я скромно, без азарта, умываюсь. Наверное, когда я мокрый, я нелюдимый. Полотенце мне возвращает сухость.

В любви нет никакой легкости, счастье еще тяжелее. Мы хотели измерить наши отношения. И мерили их деньгами, родителями, знакомыми, соседями, детьми, телепередачами, музыкой, книгами, фильмами —

очень многим. А потом мы устали и остановились посередине неустойчивого равновесия — немного в сторону, и не поздоровится обоим, — пришлось прижаться друг к другу, чтобы спастись. И теперь нам ничего не мешает. Мы не видим препятствий. Мы загадочно, чувственно улыбаемся, отменяя нелюдимость, и говорим только приятные слова. Я думаю, что так будет всегда.

Пора на кухню. Я открываю холодильник, белое на белом в самом ослепительном приближении, галки и здесь слышны, им не надоело купаться в воздушном океане, на микроволновке стоят электронные часы, они спешат, за два-три дня набегают минуты, я достаю колбасу и делаю себе бутерброд, ставлю чайник, это для затравки, для начала, мне не хватает только катушечного магнитофона, чтобы эти колеса громоздкого музыкального парохода медленно и беззвучно вращались, выбираясь на верную дорогу, да, еще полосатый арбуз с сухим хвостиком, это на обед, сосны на зиму, окна на улицу, а не во двор.

Я радуюсь самым простым вещам, мое счастье еще спит. Бутерброд с чаем (две ложки сахара, без лимона), тополь за окном почти на расстоянии вытянутой руки, длинный, заканчивающийся где-то вверху маяком, привлекающим галок. Холодильник украшен декоративными магнитами, он ими облеплен, как ракушками. Это сувениры, которые мне дарят друзья. Они привозят их из своих путешествий, виды Рима, Парижа, Венеции, Мюнхена, Барселоны, Бангкока, всех городов, где я никогда не был. Коллекция постоянно пополняется, о нас заботятся. Нам на дом доставляют свежие впечатления; приходят гости, мы садимся за стол и слушаем их рассказы. Но сначала я прикрепляю к холодильнику новый магнит. Я коллекционер чужих путешествий.

Я сажусь у окна и начинаю есть. И вот я думаю, как мне повезло в жизни, что я вот так все вижу и чувствую; к тому же у меня есть внушительная коллекция магнитов, на днях добавились Хельсинки и Стокгольм, скоро места свободного не останется и некуда будет прилепить очередной сувенир, так что, наверное, придется покупать еще один холодильник, чтобы коллекция могла расширяться.

Я готовлю завтрак, варю кофе. Галки приветствуют солнце, небо расширяется и наполняется новыми звуками пробуждения. Часы сегодня же будут висеть на стене. На календаре суббота, а значит, свободного времени больше, чем всегда. Я забыл сделать зарядку, у меня растет живот. Около полуночи был звонок по телефону; кто-то значительно молчал в трубку. Я люблю тишину и звуки природы. Не забыть купить пять литров чистой питьевой воды. У какой-то машины во дворе включилась сигнализация. Нет слов, чтобы описать мои ощущения, — мне просто хорошо, и все же я не знаю, почему. А апельсиновый сок? Вчера по радио рассказали, что однажды композитор Шостакович проиграл в карты концертный рояль. В ящике стола я нашел нашу с женой фотографию двадцатилетней давности, — я там такой смешной! Мне вдруг пришло в голову, что ничего не изменилось, а только продолжается. Продолжалось и тогда, но я ничего не знал об этом. Где-то я прочитал, что зубы надо чистить не перед завтраком, а после, и не сразу после еды, а подождав какое-то время.

Ну вот, кофе готов, пойду будить свою любимую; этот момент особенно важен, она проснется, и начнется-покатится, закрутится-завертится настоящая жизнь, которой никогда не будет конца.

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

За окном сложился мелкий сиротский дождик. Было хорошо видно, как он воздушной пеленой проходит и возвращается. С крыши срывались капли и звонко ударяли о жесть подоконника. В классе стояла тишина. После недавнего случая с аккордеоном никто не то что не галдел, а даже кашлянуть не смел.

Пристыженные, скромные, мы держали ручки наготове перед раскрытыми тетрадами.

Анатолий Константинович вывел на доске название песни, фамилии композитора и автора слов и положил мел рядом с тряпкой.

Наш учитель пения подошел к окну и заложил руки за спину: правой он обхватил запястье левой, а левую то растопыривал пятерней, то сжимал в кулак. Глядел он прямо перед собой и, казалось, ничего не видел.

Мы ждали, когда он начнет диктовать. Пауза становилась каменной и холодной; его молчание словно продолжало обвинять и прибавляло нам срок наказания.

Наконец он начал. Не меняя своего положения, произнес, глядя в окно:

— То березка, то рябина...

Голос был немного глуховатый. Он диктовал мокрому стеклу, делал сообщение осенней непогоде. И все же это был внушительный голос, поставленный, голос диктора радио или телевидения. И одет был Анатолий Константинович почти что неприступно, и в то же время соответственно своему положению интеллигентного учителя, со скромной надеждой на лучшее, и даже не без вызова, как кому-нибудь могло показаться. На нем был серый, в небесно-голубую елочку костюм, белую сорочку с блестящими запонками украшал галстук со сдержанным оттенком синего в косую белую линейку. Голова была занята блестящими черными волосами, благообразно приподнятыми в модельную стрижку с округлым чубом и выверенными бакенбардами. Что-то подобное мы могли наблюдать разве что в парикмахерской, на рекламных фотографиях симпатичных молодых людей, развешанных на стенах мужского зала, в ожидании того момента, когда нас позовут на канадку или полубокс. Анатолию Константиновичу было уже под сорок, наверное; ему можно было иметь волосы, а нам нет.

— Куст ракиты над рекой... — продолжал он как-то насильно. Пятерня судорожно раскрылась, как цветок, охотящийся за насекомым, о котором нам рассказывали на уроке ботаники, и снова сомкнулась. Раньше он нас спрашивал «записали?» или «успеваете?», но теперь ничего этого не было. Несмотря на свой благополучный внешний вид, Анатолия Константиновича явно что-то тяготило. Ну не аккордеон же, в самом-то деле?

— Край родной, навек любимый...

Дождь все так же безнадежно сеял, его занудная мелочность обещала продолжительное ненастье. Сбоку можно было увидеть напряженное лицо Анатолия Константиновича, его стеклянный взгляд, ушедший в бесконечную и монотонную октябрьскую пелену.

Он сжал запястье и выдохнул:

— ...Где найдешь еще такой.

Мы все записали до конца, до самого последнего слова. Но что дальше? Как мы будем петь без аккордеона? Или не будем?

В той злополучной истории с аккордеоном мы не были виноваты. Вернее, виноват всегда был один из нас, тот, кто всегда и устраивал всяческие каверзы. Он мог обидеть кого угодно в классе, устроить драку. Он не был сильнее, он был просто наглым. Наверное, мы его побаивались. Его выходки и наплевательское отношение ко всему оживляли школьные будни. Мы были сторонними наблюдателями, когда это не касалось нас и, стало быть, поддерживали его.

Урок был самым обычным. Но что-то сошлось в этот раз не в ту сторону, образом скандальным, — Анатолия Константиновича оторвали от занятий, на минуту вызвали в коридор. И тут любитель выходов учинил еще одну: вдруг выскочил из-за парты, подхватил со стула аккордеон и зачихнул его в нишу вдоль стены, предназначенную для нашей одежды, под куртки и плащи. Наскоро прикрыл створки раздевалки, метнулся обратно, теперь к окну, распахнул его настежь и, наконец, уселся на свое место, шмыгая носом и деловито записывая что-то в тетрадь.

Когда Анатолий Константинович вернулся в класс, он увидел, что окно открыто, потом заметил, что аккордеона на месте нет. По его разом изменившемуся лицу можно было понять, что он связал исчезновение инструмента с широко раскрытым окном. Он прошел мимо учительского стола к окну и даже выглянул из него наружу, клянуv на приманку. И тут же за его спиной раздался короткий хохоток: это не выдержал виновник безобразия. Анатолий Константинович мгновенно обернулся, сверкнув бешеным взглядом, и встретился с нашим настроенным молчанием; мы уже сообразили, что ввязались во что-то нехорошее. Он даже не стал интересоваться, кто это сделал и что тут произошло, — он просто сказал:

— Я иду к директору. Больше я с вами заниматься не намерен.

Потом пришла не директор, а завуч и принялась нас стыдить и звать к нашему разуму.

— Вы уже в четвертом классе, ну разве можно так поступать? Что же вы, ребята? Анатолий Константинович один из лучших наших педагогов.

Вот это слово «педагог» нас смутило. Если бы она «учитель» сказала, мы бы ее и не услышали. А «педагог» — это было серьезно, это меняло все дело; нас словно придавили чужой ответственностью, так что нам только оставалось вытянуться в струнку, что мы незамедлительно и сделали, окружив стол, за которым сидел вернувшийся и обиженный Анатолий Константинович. Ходили слухи, что раньше он крепко выпивал, за что и был уволен с прежней работы, и вот вдруг «один из лучших»! Ну как тут было не обеспокоиться!

— Ну, Анатолий Константинович, простите нас, — начали мы поодиночке, вразнобой, все более проникаясь каким-то странным чувством, сила которого только возрастала из-за несговорчивости Анатолия Константиновича.

— И не уговаривайте меня, не надо. Вы так ко мне относитесь, как... — он не договаривал и вытягивал лицо в непроходящую обиду. Но мы не отступались: «Ну, Анатолий Константинович», — блажили всеми на один нестройный и фальшивый лад, тянули жалостливо и тоскливо, притом, что сзади, напирая, уже толкались, и кто-то смеялся. Но он, казалось, ничего этого не замечал, он на нас и не глядел, он только слышал, что его просят остаться, — нет, даже не так: его упрашивают, умоляют. Погруженный в свои переживания, он не знал этого школьного спектакля, потому что в нем не играл, — играли с ним.

— Ну, Анатолий Константинович...

Уже и аккордеон занял свое место, неудавшаяся шутка закончилась, а он все упрямылся, мотая головой, и его красивый дикторский голос, однажды предательски дрогнув, теперь непоправимо скрипел.

На помощь нам пришла завуч, она возглавила наш безнадежный хор. Анатолий Константинович, наконец, посветлел лицом, его глаза увлажнились, и он согласился под наши крики «ура!»

Песни мы теперь не пели, мы записывали в тетрадь слова. Надутый аккордеон впустую тяжелил стул. Анатолий Константинович стоял у окна и смотрел куда-то сквозь росчерки дождя. Они не знали друг с другом.

Случилось что-то важное, и ничего нельзя было вернуть обратно. Мы догадывались, что дело не в нас, а в чем-то другом, о чем мы не имеем никакого представления. Но кто бы мог себе представить, что произойдет дальше?

Закончилось все это зимой. Просто однажды урок не состоялся. Потом мы все равно узнали, почему больше никогда не увидим Анатолия Константиновича. В учительской оживленно шептались, — так мы выяснили, что Анатолий Константинович повесился. Как? Почему? Ничего не было известно, кроме того, что произошло это у него дома. Он и жил один. Мы-то о нем вообще ничего не знали, кроме его имени.

Весной к нам пришла Жанна Васильевна, жизнерадостная и общительная блондинка. Она сообщила нам, что отныне мы будем заниматься в специально оборудованном музыкальном классе, куда и предложила тотчас всем перейти. Когда мы спускались по лестнице на первый этаж, мой сосед по парте, почувствовав перемены, спросил у новой учительницы музыки:

— Жанна Васильевна, а можно мы разучим песню «Травы, травы, травы не успели». Ее Геннадий Белов по телевизору поет, — она такая красивая!

Жанна Васильевна сначала согласилась, а потом, задумавшись, вдруг сказала:

— Нет, наверное, мы эту песню не будем петь.

— Почему?

— Знаешь, там слова дальше... — она замялась, ее щеки окрасил легкий румянец.

— Какие?

— «И от поцелуя, — она тихонько запела, — и от поцелуя словно захмелею...» Нет-нет, это мы не можем петь.

Когда мы, наконец, вошли в новый класс, то увидели портреты композиторов на стенах и черное пианино в углу.

Едва мы расселись, Жанна Васильевна принялась диктовать нам слова новой песни.

— «Ты только будь, пожалуйста, со мною, — уверенно декламировала она, — товарищ песня, товарищ песня...» Записали?

— Да, — дружно ответили мы.

